
Виктор ПЕРЕГУДОВ

МЕТЕЛЬ

Рассказ

В шестом часу сырого декабрьского вечера я шел от Никитских ворот к Центральному Дому литераторов. Валил беззащитный обильный снег. Колокольня храма Вознесения Господня, не самая низкая в Москве, не видна была за сплошной белой завесью. Снежные звездочки (звездочки) бесшумно и бесследно разбивались о тротуар, покрытый пленкой талой влаги. Исчезновение их для меня было обидно, как личная потеря, но зато оно разбудило дремавшее воображение, которое тут же связалось с разумом. Вслед за тем немедленно оживились чувства.

Все мы дорожим дружбой трех этих таинственных стихий. У очень талантливых людей она превращается в творчески продуктивный любовный треугольник.

Я поспешал на встречу с богато одаренным человеком, назначившим в этот день свой творческий вечер в Малом зале ЦДЛ. Поэт Валерий Поручик, дожив до пятидесяти юбилейных лет, выпустил после многих тонких сборников вторую за всю жизнь книгу в серьезной твердой обложке. На титульной странице было ответственное слово «Избранное», а на фронтисписе красовалась черно-белая фотография, на которой Поручику было примерно тридцать пять.

Пятидесятилетие, этот когда-то важный, а теперь лишь условно символический этап, было, однако, законным и достаточным поводом для творческого вечера хорошего, хотя и редко печатавшегося поэта. При советской власти банкет после юбилейного вечера включал в себя, бывало, купание в бокале шампанского нового ордена или хотя бы даже и не самой именитой медали. Но сейчас чего не было, того не было.

Ныне такие собрания имеют камерный, не особо даже торжественный и, уж конечно, не концертно-митинговый характер. В Малый зал ходят свои к своим. Тут все друг друга знают и, что в принципе нехарактерно для творческой среды, даже, бывает, уважают. Всегда все проходит хорошо, без скандалов, которыми знаменит ЦДЛ. И виновник торжества, и его гости-почитатели остаются довольны друг другом. И слава Богу, потому что ЦДЛ за долгую свою жизнь перевидал слишком много мерзостей разного рода, особенно, кстати, идейно-политических. Драки же, преимущественно, кстати, между поэтами разных направлений, происходили и в Нижнем буфете, и в Пестром зале, и в шикарном и знаменитом ресторане ЦДЛ, имеющем независимую от писателей и поэтов собственную замысловатую, с историческими пятнами, репутацию.

Впрочем, рукоприкладство в ЦДЛ осуществлялось во множестве мест. Их скучно перечислять даже.

Виктор Перегудов родился в 1949 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского университета, работал в воронежских, а с 1980 года в центральных изданиях, издательствах, на госслужбе. Автор книг «Великие сосны», «Сад золотой», «Окна и зеркала», «День и ночь любви» и других. Живет в Москве.

В Малом зале некороткий по времени вечер Поручика прошел, по моему ощущению, быстро. И это означало успех. Окончательно вечер закончился после исполнения певицей трех романсов на стихи Поручика поднесением ему трех скромных букетов и дарением, от духовенства иконы, от казачества великоватой на вид папахи, а от джигитов сувенирного, но убедительно сверкающего кинжала. Были еще дипломы и почетные грамоты.

Когда добрая половина зала отправилась в Нижний буфет на скромный, лучше сказать, бедняцкий банкет, туда же дружно двинулась небольшая компания самых близких друзей взволнованного поэта. Я был в ней по самому что ни на есть законному праву. Из наших лишь прозаик Иннокентий Харитонов задержался за разговором с хозяйкой книжного киоска, но и он не опоздал к третьему тосту, когда у участников застолья, утоливших первую жажду, отрывается дар свободной искристой речи.

Друзья Поручика устроились за двумя предварительно накрытыми, под белой скатертью сдвинутыми столиками. Гости устремились к подобию шведского стола, заставленного закусками и бутылками. От одного из многочисленных ныне писательских союзов его секретарем был оглашен пространный юбилейный тост, отчасти повторяющий его же вступительное на вечере выступление. После этого все занялись долгожданным делом и разговорами.

Нижний буфет я в те времена для себя называл Нижним Новгородом, Пестрый зал был у меня Москва, а Петербургом я именовал вельможный масонский ресторан ЦДЛ. К компании друзей как-то неожиданно подсел один общий знакомый, сценарист одного из трехбуквенных телеканалов Сергей Привалов. За глаза его звали Длинноватый. Я подумал, что сценарист явился не для дружеской попойки (хотя выпить он был, естественно, не дурак), а в качестве коллекционера оригинальных творческих человеческих типов. К несчастью, он был еще и модным блогером, алкавшим лайков (от слова лай, как я трактую этот липкий термин). Скрытую камеру носил на себе. Однажды его, не мы, правда, тщательно побили за такого рода скрытность.

Довольно быстро я да и все мы поняли, по какой непрофильной нужде он приблизился к нашему берегу.

Одним из крайне оригинальных типов — потенциальных жертв сценариста-блогера — был поэт и литературный критик Белинский. Это не псевдоним, а настоящая его фамилия. Тут, впрочем, все были оригиналами, ибо других Нижний буфет не принимает. Критик-поэт принципиально критически относился к чистосердечной простодушной водке. В этом было нечто таинственное и даже очаровательное. Удивительным образом он пьянел вместе с нами, ни единой каплей не размыв репутацию успешного трезвенника.

Сидели за столом и другие талантливые люди нашего цеха. И не совсем нашего по ремеслу, хотя ремесло у приглашенной Поручиком красивой Ирины было творчески подходящее: режиссер документального кино. На вечере она снимала видео на телефон, а почему на телефон, а не на камеру, так это, она сказала, для творческой атмосферы. Она в то время делала документальный фильм о Поручике.

Этот одно время никем, как и настоящая литература, не финансируемый род творчества, задавленный глупыми сериалами, ужастиками и прочей дребеденью, востребовался и круто воспрял на теме киевского майдана и всех этих безумных, невозможных, казалось, украинских событий. Ирина в поворот истории вписалась после начала СВО. Она была ранена, но в своем фильме о взятии Мариуполя ни словом об этом не обмолвилась. Я как-то спросил ее почему. Она ответила, что мужчину шрамы украшают, а женщину нет.

Она была очень красивой, по-настоящему проснувшейся, но не голодной женщиной. На тонком ее лице грустили большие, косоватые в разрезе глаза.

Неизбежный и многослойный разговор завязался, естественно, только после третьей по счету, за нашим отдельным столом, рюмки. Первую подняли за нашего друга, только что отстрелявшегося на творческом вечере. Вторую Поручик предложил поднять за тех, кого назвал слугами и повелителями слова, то есть за нас. Мы этому и не противились, порядок есть порядок. Третий тост, за Ирину, неожиданно приватизировал сценарист Привалов.

Не скажу, что это было кстати; я ясно почувствовал некую преждевременность и даже неуместность тоста: резонно было бы услышать его, в честь единственной дамы, от Поручика. Но птичка, однако, вылетела. Как могла.

Тогда я попросил Поручика еще раз прочитать стихотворение о снеге. На вечере он, как водится, читал лучшие свои стихи, а затем и новые, и среди них сразу же запомнившееся стихотворение о снегопаде.

Мы тогда как будто увидели этот снегопад. Снежинки-слова, нагруженные мистическим очарованием, слетали из зари зимнего неба. Из тяжелых сине-свинцовых облаков, подсвеченных по дну мятежным алым светом. В тихом полете слова нежно, тревожно и, как ни странно, музыкально позванивали. В поэзии это бывает.

Я подумал, что, читая стихотворение на вечере, Поручик открывал свою душу. Сейчас он в нее всматривался. То есть он лучше прочитал. С болью.

И тогда я, тонко восхитившись его талантом, сказал, что давно думаю вот о чем: в прекрасные по результатам, хотя и не очень частые и не слишком продолжительные времена своего психического здоровья русская литература была моральной, пейзажной и всепогодной. То есть всерьез нравственной и избыливающей пейзажами и описаниями множества разнообразных природных явлений.

— И смертей-погибелей, — обронил Поручик.

— И их тоже, — согласился я. — У нас ведь все в один узел завязано. Только люди когда умирают, то они совсем умирают. А природа всегда воспроизводится.

— Заканчивай ты с этим контекстом, — сказал Поручик, но я не внял его пожеланию и продолжал: — Согласитесь, — вещал я, — Россия на эти явления богата до избыточности даже. Они зачастую даже жизни угрожают. А меня в отеческой, так, друзья, я хочу ее называть, литературе больше всего привлекают зимние картины, мотивы и настроения. Наглядно драматичные, а вместе с тем иной раз неподражаемо оптимистические. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись»... кто этого не помнит! Из-под пера гения вышло и прямоком в учебники. А оттуда в национальный культурный код.

Так вот, увлеченно повествовал я, из зимних страниц классики мне лично больше всего дороги те, на которых описывается метель. В юности любил про весну. Священную. Весна меня тогда будоражила как таковая, что тут удивляться. Это сейчас она меня всего лишь ненавязчиво веселит. А раньше будоражила.

— А лето? С летом как у тебя? — спросила тогда Ирина.

— Лето, — отвечал я, — ну что, Ира, лето. Пылкое. Страстное. Праздник. Но жарковато. Страшит радиация разгулявшегося солнца. Осень, Ирочка, я тоже люблю, особенно среднюю, когда очей очарованье, но еще сильнее позднюю. Предваряющую морозную и вьюжную зиму.

— Я, Ира, тоже обожаю лето. У меня действие всех сериалов разворачивается летом, — сказал Привалов.

Он был сейчас бестактно напорист, как в своих лентах, которые за отсутствием глубины насыщал громоздящимися проходными эпизодами.

Ира отреагировала мгновенно и коротко:

— Лето — это липкая кожа, Привалов.

Теперь все прояснилось с впечатляющей резкостью. И даже как будто какое-то общее облегчение наступило. Может, даже и Привалову-Длинноватому стало как-то легче после недвусмысленного отпора.

С этого момента встреча обрекла второе и весьма глубокое дыхание. После промежуточного кофе мы как следует выпили водки и стали доказывать друг другу, что в невероятно быстро летящем двадцать первом веке прекрасная литературная традиция исхудала, но не умерла. Ослабла, но не сдается. Выразительно-изобразительно поблекла, но зато теперь наши изголодавшиеся глаза, уши и личное чувство прекрасного сами по себе добавляют ярких красок и музыкальных звуков суховатым небрежным текстам.

Мы говорили, как нам казалось, интересно и искренне, но наверняка излишне пространно, чего в литературной среде, где все говорюны, делать не следует. Тут ведь каждый жаждет высказаться поподробнее. Ирина нас почти не снимала, а в разговоре участвовала лишь короткими, в десятку, репликами да неподражаемо выразительной мимической реакцией, но именно на эту реакцию мы сознательно или подсознательно, то есть по-мужски, ориентировались.

Мы спорили, уважая наш спор. В споре ведь иногда известно, что рождается. Истина, ха-ха. Ее ждут. Интересно же поглядеть на голую! Но чаще в споре всего лишь копится усталость от борьбы мнений. Переубедить все равно никого невозможно. Уж я-то знаю.

Со снегопада разговор перешел на гололед, но тут мы лишь скупой улыбнулись, а я так просто поморщился, а Поручик даже оскорбился в ответ на несмешной анекдот Привалова, вновь вдруг воспарившего на торопливой, проворной водочке. В анекдоте пьяница треснул головой о новорожденный лед на Тверском бульваре напротив памятника Есенину. Чего тут смешного, спрашивается.

Дальше мы всерьез разговорились о метели. Не за окном, окон в нижнем буфете нет, а о метели у Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Державина, Ломоносова, Бунина, Кюхельбекера, Брюсова, Вяземского, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Лескова, Блока, Есенина, Пастернака, Твардовского, Гроссмана, Распутина, Астафьева, Белова...

Это я перечислил, кого запомнил. Поскольку соревновательно беседовали люди всерьез начитанные, то имен было много. Но мы слишком частили. Выигрывая темп, проигрывали качество. Так бывает не только в шахматах, но и в застолье. И в жизни.

Ближе к концу вечера я, полноты ради, вспомнил «Метель» Сорокина, но его повесть только я да Белинский читали; на мое добавление он заметил:

— У этого губа не дура.

Белинский сказал, что Евтушенко предложил на конкурс текстов для гимна России стихотворение «Идут белые снега», и это был, что ни говори, поступок. Потом поэт-критик сообщил, что исследователи образа метели в русской литературе выделяют метель-страсть и метель-судьбу:

— В метели есть inferнальность. Литература ее обнажает. Смотрите, снег ведь белый, а метель изнутри серая, непроницаемая, без единой искры. Метель обманывает. Зазеваешься — она и судьбу опрокинет, и руки-ноги можно отморозить, и вообще помереть, — я сказал это, чтобы перевести беседу из вспоминательного в осмыслительное русло.

— Точно про inferнальность сказано! В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» кто метель затеял? — в разговор вступил медлительный прозаик Харитонов.

— Черт, — сказал Поручик.

— Гоголь, — засмеялся я. — Он и сам по некоторым признакам мистического свойства не был чужим в тех сферах, куда нам вход заказан.

— А туда пропусков не бывает. Понравиться надо. К нам же ко всем приглядываются, — негромко, но внятно проговорил как будто протрезвевший Привалов.

— Что к тебе приглядываться, тебя за твой блог черти и так своим числят, — засмеялся Поручик.

— Возможно. Хотелось бы, — еще тише обронил Длинноватый.

После этого, от греха подальше, следовало расходиться. У меня, однако, сам собой родился другой план. Я встал с рюмкой в руке.

— Мужики! Послушайте! Ирина, и ты послушай, чего ты улыбаешься! Тебе как режиссеру пригодится. Я был недавно в генеральской бане. Она так называется по традиции, но там, мне сказали, собираются исключительно деловые люди. Знакомый пригласил посмотреть на бизнесменов. Поизучать их. Правда, баня. Хорошая. Пили мы там крайне благородные напитки. Анекдоты были. Разговоры не политические. Без дам, учти, Ирина.

— Жаль, что без дам, — сказала Ирина. — Я бы не прочь.

— Дерзкая! — я сдвинул брови. — Забыла, что к беде неопытность ведет?

— А я бы с мужчиной туда пришла! А что, и я была девушкой юной. Я бы фильм сняла о мужской бане. Ты бы, Поручик, там стихи девушкам читал. Охота мне это снять, не могу какая охота. Или вы им стихи там не читаете? Там же у вас и с девушками не девушки главное. А что тогда?

Поручик отмолчался, а я продолжил:

— Никто тебе, Ириша, не ответит, потому что никто из нас не знает. Хотя мы все, мужчины, по-особому чувствуем баню, честно. Вот. Мы тогда договорились, что через месяц снова соберемся попариться. Деловые люди сказали, что для них, бизнесменов, договор дороже денег. Но никто, конечно, о нем не вспомнил. Кроме меня. Деловые оказались неспособными держать слово. Но мы с вами, слава богу, не деловые. Мы — люди творческие. А творчество — это, между прочим, есть точность высшего рода. Надо в душу прицельно попасть. Встречаемся через месяц? Ну, давайте встретимся! Здесь.

Меня поддержали единодушно. Отчасти чтобы поскорей разойтись, как мне показалось. Ирину, к моему удивлению, вызвался было проводить Привалов.

Ему было тактично, но непреклонно отказано. Ирина посмотрела на часы:

— Меня машина у подъезда ждет, я знаю. Уже семь минут. В ней человек. Саша, мой оператор.

Помолчала для паузы, чтобы Привалов уяснил информацию. Продолжила:

— Он просил тебе, Поручик, и всей честной компании кланяться, — Ирина церемонно поклонилась. — Жалеет, что никак не мог на вечер приехать. Я поэтому сама, за него, следила за тобой. Через камеру телефона. Так что извини. Ребята, я правильно поняла, что через месяц здесь же? С Сашей приду. Поручик, ты меня должен поцеловать и отпустить.

Она подошла к Поручику, сама поцеловала его и ушла.

— Летящей походкой ты вышла из зала, — пропел Привалов.

Я ехал домой в такси, сев вопреки привычке на переднее сиденье. Шел снег. Когда мы останавливались на красный светофор, он падал тяжелыми хлопьями сверху вниз, а когда ехали, он летел навстречу нам, разбиваясь о лобовое стекло. Дворники металась вправо-влево, неустанно смахивая его.

Я задремал.

В дреме ли, во сне ли я подумал, что Малевича прославил «Черный квадрат», а «Красный квадрат» и «Белое на белом» советские искусствоведы как будто и не заметили, рассудив, наверное, что у гениального супрематиста два этих цвета слишком уж напряженно и недвусмысленно взаимодействуют на идейной, а не на художественной почве. Они, два полотна-врага, были побеждены чернотой «Черного квадрата». А жаль. С красным все понятно, это страдание, а белый следовало трактовать как снег. Холодно. Чисто. Честно.

Отрезвляет после красного и черного.

Я вспомнил, как в детстве во внезапную сильную, лучше сказать мощную, метель, затмившую белый свет, мы с другом, ему было двенадцать, мне одиннадцать, наглухо заблудились в сосновом бору. Лыжи проваливались в рыхлый снег. Я ослаб до того, что стал засыпать. Васька тормозил меня, но я засыпал. Он сильно ударил меня по лицу. Разбил нос. Кровь полилась, не остановишь. Красная на белом снегу. Я взбесился. Хотел его тоже ударить, но вместо этого неожиданно для себя решительно показал напряженно вытянутой рукой, куда нам надо идти. Скоро мы вышли, уже не плутая, из бора, увидели дома. Васька потом говорил, что я нас спас. А я ему сказал спасибо за кровь.

Еще в такси пригрезилось мне, как я в шестнадцать лет поехал один, романтично, в меловой подземный храм Рождества Иоанна Предтечи. Это недалеко от города Лиски Воронежской области, где я родился. Храм вырублен в меловой горе. Сейчас туда туристов возят, там ведь, кроме храма, остатки старинной крепости, которую не смогли взять хазары, и вид на Дон и окрестности удивительно красивый и зимой, и летом.

В тот день огромное пространство под горой и до горизонта сияло под ярким полдневным солнцем белоснежным покровом. Контрастно, как на рисунке тушью, чернели на двух берегах безлистные деревья вдоль плавно изогнутой белой ленты реки и маленькие фигурки зимних рыбаков, склонившихся над лунками, похожими сверху на черные точки. Я вошел в храм, подсвечивая себе тусклым желтоватым светом карманного фонарика. Мне хотелось, как я задумал, побыть в подземном меловом храме ровно полчаса. Во мне духовные процессы тогда бушевали. На двадцатой минуте фонарик погас. Время я узнавал по «командирским» часам со светящимися зелеными цифрами и стрелками. Через десять минут я вышел из пещерного храма на белый свет.

Но белый свет был теперь серый. Метель бушевала. Снежные полотна, клубы и потоки не пропускали солнца. Казалось, наступил внезапно зимний тусклый беспросветный вечер. Смутно стало на душе.

По обледенелой, извилистой опасной тропе я осторожно спускался вниз, к туберкулезному санаторию. Недалеко от него, через дорогу, была остановка моей электрички.

Когда она причалила к перрону и пошипела распахнувшимися дверями, мир уже радостно и обновленно сиял. Солнце торжествовало. Метельный заряд стремительно укатился далеко за горизонт.

Давно, как давно все это было.

Дома, приняв душ и попив чая, я уснул и снов той ночью не видел.

Время зимой идет быстро. Мне однажды позвонил Валера Поручик и сказал:

— Уговор насчет повторной встречи в ЦДЛ помнишь?

— Как не помнить, я же ее предложил. А что, месяц прошел?

— День в день. Приходи завтра к шести в ЦДЛ. Во что бы то ни стало. Я всех обзвонил.

— Кто-нибудь обязательно не придет, хотя мы люди творческие.

— Каждый за себя отвечает. Так что будь.

Мы собрались в Нижнем буфете. Ирина не пришла. Поручик сидел почему-то мрачный. Привалов выглядел как больной.

Еще не налили по первой, когда Поручик требовательно, почти властно, сказал:

— Давай, Привалов.

Привалов на глазах побледнел и стал говорить:

— Мы с Ириной пять дней назад улетали на Донбасс. С военного аэропорта «Чкаловский». Кто летал туда, тот знает. На десантном Ил-76. Самолет огромный, на борту гуманитарка, тюки, какие-то ящики там военные, медицинские сумки и коробки и секретное, наверное, что-то еще. Военные, журналисты, артисты. Чичерина с нами летела петь перед бойцами. Еще группа от «Мосфильма» и группа от телевидения. Я сперва лететь не собирался, но узнал, что Ирина летит, и лоб разбил о порог Министерства обороны. Вымолил себе разрешение. Нас встретили в Ростове-на-Дону. Разобрали по машинам, повезли. Ближе к войне. У Иры был оператор, ну, Саша ее. Он там, на месте, на следующий день снимал Ирину, а я, как умел, их двоих. Не для блага, клянусь. Хотя покажу, наверное, и там. Мы старались, Ирина просила, и я просил, чтобы нас довели до того места, где война совсем рядом. Как можно ближе. Нас не сразу туда повезли, там же все строго до предела. Нас берегли. Там не так просто понять разницу между близко и далеко. Там снег выпал, все покрыл, все чисто, убитый лес только чернел страшно. Ирина хотела эту белоснежность снять, а потом с того же ракурса, когда и если будет тут орудие работать, или миномет, или танк, то все, она говорила оператору, все, Саша, тут изменится, исказится, все станет страшно. Где белый снег, там как саван он, наверное, будет. А где-то он будет черный, она говорила. И не дай бог, алая кровь на белом снегу. Она этой съемки страшилась, я видел, но она, главное, хотела снять людей на войне перед их работой и после их работы.

Он замолчал.

— Рассказывай, — сказал я.

— Но она ничего этого не сняла. Саша снимал со стороны. Взорвалось что-то! Смерть! На моих глазах. Смерть. Смерть.

Он не кричал. Он шептал.

— Что ты сделал тогда? — спросил Поручик.

— Закрыв ей глаза. Она в небо смотрела. А я ее любил.

Он замолчал.

Я увидел эти глаза. Она смотрела на нас. На меня. С неба.